

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Карамора. Максим Горький

Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость,  
– порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость  
сделать, – самому близкому.

Слова рабочего Захара Махайлова, провокатора,  
сказанные им следственной комиссии в 1917 г.

"Былое" 1922, кн.6-ая, статья Н.Осиповского.

Иногда – ни с того ни с сего – приходят мысли плохие и  
подлые...

Н.Н.Пирогов.

Позвольте подлость сделать!

Один из героев Островского.

Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и  
подвиг героизма.

Из письма Л.Андреева.

По обдуманым поступкам не узнаешь, каков есть человек,  
его выдают поступки необдуманные.

Н.С.Лесков в письме к Пыляеву.

У русского человека мозги набекрень.

И.С.Тургенев.

Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень весёлый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут – карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках ловок.

Дали мне они три дести бумаги: пиши, как всё это случилось. А зачем я буду писать? Всё равно: они меня убьют.

Вот – дождь идёт. Действительно – идёт: полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном гром, шум, тюрьма притихла, трясётся, дождь и ветер толкают её, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я, сам в себе, как рыба в бредне.

Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притёрся. Вот и всё.

А может быть, это не так. Всё-таки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И – темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем.

Пускай убивают.

Всю ночь не спал. Душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром, точно из бани. В небе серпиком торчит

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова.

Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что ещё делать? Как в щель смотрел, а за щелью - зеркало, и в нём отражено, застыло пережитое мною.

Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький, голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица жёлтая, нос кривой и докрасна затёк от тяжёлых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызёт внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком.

Был он из тех, которые родятся мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жизнь, - точно ограбленный поймал вора и обыскивает его.

Мне, весёлому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьём. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было: я, здоровый, русский парень, а вот эдакий ничтожный, чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирает в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но - ведь как скажешь:

"Всё это - правда, только мне её не нужно. Своя есть".

Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путём. Ошибся, не сказал. Пожалуй, именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было: сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенькою галчонка.

Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушёл, я стал высмеивать товарищей: нашли учителя! Но Зотов, скорняк, который завёл всю эту машину, озлился на меня, да и другие - тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притёрлись к нему.

Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унижить его в глазах товарищей; это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живёт и горит в таком хилом, маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы.

На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух, трёх бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал её. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я - сгоряча и по молодости моей - не заметил. Доказано, что по закону естества разума мысль рождается фактами. Разумом я принял социалистическую мысль как правду, но факты, из которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравенства людей был для меня естественным, законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей; ещё мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне, и вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту - любви к людям, что ли? Не знаю - чего. Проще говоря: социализм был не по росту мне, не то узок, не то - широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм - чужое дело. Они похожи на счётные машинки, им всё равно, какие цифры складывать, итог всегда верен, а души в нём нет, одна голая арифметика.

Под "душой" я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать, верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни, должно быть, в том, что такой "души" у меня не было, а я этого не понимал.

Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне; стараясь уличить его в том, что он не всё или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперёд, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего.

Он, пожалуй, даже любил меня.

- Вы, Пётр, настоящий, глубочайший революционер, - говорил он мне.

Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, чёрненький, точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил:

- Не живёт, а - тлеет. Так и ждёшь: вот-вот вспыхнет и - нет его!

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но - обижал его. Например - спрашиваю:

- Вы всё говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазёнками и сказал, что хотя капитализм интернационален, но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма - Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвёл упрёки, сказав, что его умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда.

На восьмом месяце занятий с нами он был арестован вместе с другими интеллигентами, с год сидел в тюрьме, потом его сослали на север, и там он умер.

Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытарачив глаза, но - ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким - легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их.

Привели в тюрьму солдата, - удивительно похож на отца, в год его смерти: такой же лысый, бородатый, так же глубоко, в тёмные ямы, провалились глаза, и посмеивается виновато, как смеялся отец мой перед смертью.

- Петруха? - спрашивал он меня. - А ну, как умрёшь - черти встретят?

Он умирать не хотел даже до смешного; лечился сразу у троих: у знаменитого доктора Туркина, у какой-то знахарки в слободе, ходил к попу, который от всех болезней пользовал настоем эфедры - "кузьмичовой травы". Боялся отец и за меня. Говорит, бывало:

- Бросил бы ты, Пётр, забаву эту! В том, что люди плохо живут, не твоя вина, почему же твоя обязанность налаживать чужую жизнь? Это всё равно как если б ты чужих гусей пас, а своих без призора оставил.

В грубых мыслях правды больше. Конечно - люди посажены на цепь экономики. Экономический материализм - учение ясное и никаких выдумок не допускает. Связь между людьми - дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно - я терплю эту связь, а невыгодно - открываю свою лавочку: прощайте, товарищи!

Я - не жаден, немного мне надо на мой срок жизни.

Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что ли, проповедники любви к людям. Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими, но понимал, что их любовь к людям - выдумка, и - плохая. Понятно, что для тех, кто, не имея определённого места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически необходима; это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела - забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силою, утвердить свою идею, позицию, своё честолюбие. Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это любовь. Но это не любовь, а - механика, притяжение к

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает "любовь" к ним, обнаруживая простейшую, социальную механику.

В городе, ночами, постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то выл, стонал, топал ногами. Кажется – женщина.

Утром приходил от них товарищ Басов, спрашивал: пишу ли я? Пишу.

Он снова, как на первом допросе моём, ужаснулся, разводил руками, бормотал:

– Поверить невозможно, что это – вы, старый партиец, организатор восстания, один из самых энергичных работников наших.

Неприятная у него манера говорить; слова будто жуёт, а они у него прилипают к зубам, и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и – кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах. Скучный мужчина. Лицо у него – лицо безвинно наказанного, на всю жизнь обиженного. Среди интеллигентов много встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий должен им полтора рубля и – не платит.

Они, видимо, думают, что смерть испугает меня и я, несчастный злодей, растекусь покаянием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки.

Да, я пишу. Не для того пишу, чтоб вытянуть несколько лишних дней жизни в тюрьме, а – по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека, и один к другому не притёрся, но есть ещё и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и – не то раздувает, разжигает вражду, не то честно хочет понять: откуда вражда, почему?

Это он и заставляет меня писать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется понять всё или хоть что-нибудь. А может быть, третий-то самый злой враг мой? Это уж похоже на догадку четвёртого.

В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям. Но во мне, я думаю, живёт человека четыре, и все не в ладу друг с другом, у всех разные мысли. Что бы ни подумал один, – другой возражает ему, а третий спрашивает:

"Это вы зачем же спорите? и что будет из вашего спора?"

Есть, пожалуй, ещё и четвёртый, этот спрятался ещё глубже третьего и молчит, присматривает зверем, до времени тихим. Может быть, он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу.

Я думаю, что ещё в юности, когда слагается человек, он, волею своей, должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей.

А вдруг он именно её и задушит, лучшую? Ведь – чорт её знает, которая лучшая-то!

Интеллигентам – легче, у них школа вытравляет лишние зародыши, злую икру, а нашему брату, когда в нём проснётся неукротимая жажда всё знать, всё попробовать, всё испытать, – нашему брату очень трудно!

В двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны, по всем следам, стремясь всё обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания, а желаниям – счёта нет.

Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу, а "постыдно" ли такое равнодушие – этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю.

Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси:

"Когда человек очень умён, так это даже неприлично".

Значит: пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя и потому что мне

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru

скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого, и забавно ловить мысли свои на попытках соврать, спрятать что-нибудь от четвертого, ускользнуть от его слежки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После неё остаётся только пепел? Ну, что ж...

Едва ли они увидят и прочитают эти записки, я успею истребить бумагу или пересуну её в другие руки, чужим людям.

Вот рядом со мною воры сидят, трое, весёлый народ. Старший у них почти мальчишка, лет двадцати, не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поёт частушки, особенно – одну:

Я отчаянным родился

И отчаянным помру,

Если голову мне сломят

Я полено привяжу.

Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася – шоколад.

Всего лучше чувствует себя человек в затруднительном положении. Когда, около Темрюка, оторвало ветром льдину с рыбаками и понесло их в море, я, бросившись им на помощь, тоже был оторван и поплыл на маленькой льдине один, с багром в руках. Сразу стало ясно мне, что игра моя проиграна, так ясно, что на минуту я оледенел изнутри. Волной ломало льдину под ногами у меня, ещё минута – и я бы потонул. Рыбаки, оставшиеся на льду, ещё не оторванном от берега, бросили мне длинную верёвку – этим лично я был спасён. И тотчас, как будто в меня извне вскочил кто-то, очень ловкий, злой, – я закричал, чтоб бросали ещё верёвок, а ту, которая уже была в руках у меня, метнул рыбакам – они выли и метались в десятке сажен от меня. Им удалось подцепить верёвку багром, а меня они сорвали со льдины в воду. Но я уже успел подхватить верёвку с береговой льдины, связал обе, потом ещё одну, и рыбаков осторожно подтянули к берегу. Из девяти человек потонул только один старик; в суете и страхе его свои столкнули в воду. Когда льдину с ними тянули к берегу, меня едва не перетёрли верёвкой, она была обмотана вокруг моего тела, я болтался на воде, как поплавок.

Вообще, когда меня постигала опасность, она, как бы сама против себя действуя, многократно увеличивала силы мои, наделяла спокойствием, обостряла соображение и всегда позволяла преодолеть её. Смел я был до нахальства и особенно любил себя в минуты, когда жизнь моя висела на волоске.

Был смешной случай: во время устроенного мною с воли побега товарищам из тюрьмы старичок надзиратель, догоняя, четыре раза выстрелил в меня из револьвера. После второго выстрела я остановился, не хотелось бежать, не то – стыдно было, не то – смешно. Подбегая, он выстрелил ещё раз, попал в голенище сапога, оцарапал ногу, потом стреляет в упор, в грудь – осечка!

Я вышиб револьвер из руки его, говорю:

– Не вышло, старик?

А он, задыхаясь, хрипит:

– Так ты беги, дьявол! Чего же ты ждёшь, чо-орт?

Страх испытал я, кажется, только один раз – во сне, в ссылке, в захолустном городке Уржуме. Там было такое совпадение условий: начитался я книжек по астрономии, только что перенёс тиф и едва ходил по земле, а тут ещё явился странный человечек и начал проповедовать мне о "распятом за нас при Понтийском Пилате". Он почти не говорил – "Христос", а всё только "распятый за ны". Был он человек жалкий, должно быть, не в своём уме, и был, несомненно, не простой странник, прихлебатель по кухням богатых купчих, а из интеллигентов. Длинный, сухой, с несчастной бородкой, на висках седые волосы, хотя – не стар, лет тридцати пяти. Молодили его глаза, необыкновенно лучистые, глаза влюблённой девушки, так сказать. Синеватые зрачки его точно горели и таяли, растекаясь по

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
большим, очень выпуклым белкам.

Сажу у ворот на лавочке, пригрело меня солнцем, задремал, - вдруг рядом со мною очутился этот человек и начал говорить о "распятом за ны". Говорил изумительно, с такой детской наивностью и так, как будто сам непосредственно пережил всю авантюру Христа, - "авантюра" - это слово товарища Басова, специалиста по атеизму.

Разумеется, я стал спорить. Потом он попросил есть, я отвёл его к себе в комнату, там спор наш разгорелся ещё жарче. Собственно говоря, он не спорил со мною, а только читал стихи из евангелия и улыбался жалобно. До поздней ночи я убеждал его, что каждый человек, умеющий думать, прекрасно знает, что бога - нет, Христос - наивная поэзия, лирика, выдумка, обман в конце концов. Веруют в бога по невежеству, из страха, по привычке, из упрямства, а некоторые даже потому, что в душе отчаянно пусто и они набивают пустоту ватой религии. Иные, пожалуй, относятся ко Христу, как к женщине, о которой знают, что она обманула, изменила, но - привыкли к ней, других не чувствуют, а эту бросить - не могут. Вообще - бога нет. Будь бог - разве люди таковы были бы?

Впрочем, последних слов я, наверное, не сказал ему; это, кажется, только сейчас и впервые сказано мною. Тоже - наивно. И неуклюже: буль-буль-буль - точно тону, захлёбываюсь. Не умею писать.

Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мои мнения о боге, религии и всей этой лирике нищих духом. Он сидел на лавке у окна, смотрел на меня, облокотясь о стол, улыбался, иногда - засмеётся необидным смехом дурачка. Так и сидел до поры, пока мы не улеглись спать, я - на койке, он на полу.

Ночью проснулся я, а он стоит среди комнаты, высокий почти до потолка, и бормочет, глядя в окно, указывая рукою на меня:

- Помоги ему, ты - должен, помоги!

Бормотал он строго, как бы приказывая, точно власть имущий над кем-то, - фокус этот не понравился мне, но я ничего не сказал чудаку и снова уснул. Тут и приснилось мне, будто я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького неба. Хожу я по черте горизонта и щупаю руками холодное, твёрдое, это - край неба, он плотно врос, притёрся к жёсткой, как железо, но беззвучной земле, - шагов моих на ней не слышно. Как тусклое зеркало, небо отражает моё уродливо изогнутое тело, лицо у меня искажённое, руки дрожат, и моё отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки, пальцы их неестественно изогнуты, не сжимаются. Я уже несколько раз обошёл пустоту, быстро и всё быстрее двигаясь по черте горизонта, но - не понимаю, чего ищущу, и не могу остановиться. Невыносимо тяжело мне и тревожно, я помню, что на земле существует жизнь, множество людей, - где же всё это? В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности, моё движение по кругу становится всё быстрее, вот оно уже как полёт ласточки, а обок со мною летит, размахивая руками, отражение моё, и всюду, куда бы я ни взглянул, только оно. Круг, сжимаясь, становится всё меньше, купол неба всё ниже, я бегу, задыхаюсь, кричу...

Человек этот разбудил меня, а я со страха так обрадовался, что схватил его за руки, прыгаю и смеюсь. Вообще вёл себя очень глупо. Страшнее этого сна я ничего не помню. Кстати сказать: ошибочно утверждают, что страшно непонятое, это неверно. Например: астрономия очень понятна, а разве не страшна?

В городе шумят, стреляют. Папирос у меня нет, это - плохо.

Работал я с величайшим увлечением, жил празднично. Командовать людьми нравилось мне, вероятно, больше, чем это нравится вообще человеку, особенно - интеллигентам, которые командовать и любят, да не умеют. Что бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми - большое удовольствие. Заставить человека думать и делать то, что тебе нужно, что вовсе не значит спрятаться за человека, нет, это ценно само по себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности. Этим можно любоваться. И если б я не любил власть, я не был бы признан отличным организатором.

Когда меня первый раз арестовали, я почувствовал себя героем, а на допрос шёл,

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
как на единоборство с медведем. Страдать я не мастер и страданий, сидя в тюрьмах, никогда не испытывал, если не говорить о некоторых, всем известных, мелких неудобствах тюремной жизни. Лишение свободы? Тюрьма давала мне свободу читать, учиться. А кроме того, тюрьма даёт революционеру нечто подобное генеральскому чину, окружает его ореолом, и этим надобно уметь пользоваться, когда имеешь дело с людьми, которых ты, против воли их, толкаешь на путь к свободе.

Слуга классовых врагов моих, жандармский ротмистр, оказался добродушным человеком, тучный, красноносый, видимо – пьяница, он встретил меня улыбкой и словами, каких я, конечно, не ожидал от врага.

– Пётр Каразин, иначе – Карамора? Ого-го, какой молодчинище! Великолепный драгун вышел бы из вас.

Я приготовился говорить с ним сурово, презрительно, но тотчас понял, что это было бы смешно. Не то чтоб он умягчил меня, а просто я увидел пред собою воробья, по которому только трус или идиот решился бы стрелять из пушки. Когда я вежливо, но спокойно заявил ему, что я отказываюсь от показаний, он наморщил нос и заворчал:

– Ну, разумеется. Теперь все вы так, знаю. Вот и посидите в тюрьме. Эх, молодёжь...

Мне даже показалось, что ротмистру приятна решительность моего заявления. Я не подумал, что жандарм, может быть, торопится обедать и только потому у меня с ним всё кончилось так быстро и легко. Возможно, что для меня было бы лучше, если б я наткнулся не на этого человека, а на хорошего зверя в мундире, на лицо определённых убеждений, одним словом, не на чиновника, а на врага. Жизнь так забавно устроена, что лучшим воспитателем человека является враг его.

Но, хотя до пятого года я сидел в тюрьмах трижды и допрашивался жандармами раз десять, мне так и не пришлось встретить среди них ни одного, который умел бы разжечь во мне чувство вражды, ненависти. Всё обыкновеннейшие чиновники, и даже встречались довольно приличные люди; говорю это не с целью рассердить ортодоксальных товарищей, а как о факте, видимо, случайном.

Объявив мне приговор, полковник Осипов, тощий, жёлтый, умиравший от рака, сказал:

– Вам повезло: приговор лёгкий. Вы заслуживаете более сурового наказания, вы очень опасный человек.

Для меня его слова звучали похвалой, хотя он говорил их удивляясь и сожалея.

Это был человек умный, он хорошо понимал людей и однажды весьма смутил меня замечанием, которого мог бы не делать: на последнем допросе он сказал, разглядывая меня сквозь стёкла пенснэ:

– На мой взгляд, вы, Каразин, или озорничаете, или ошиблись и делаете не ваше дело.

Это очень укололо меня. Вот тут я рассердился, начал говорить ему дерзости, но он остановил меня:

– Я вовсе не хотел обидеть вас, а просто, как человек человеку, высказал моё впечатление. Вы играете опасную игру, а мне кажется, что для революционера вы человек недостаточно злой и – уж извините! – слишком умный.

Я думаю, что Осипов был порядочный человек; впрочем – так говорили все товарищи, побывавшие в его руках.

Однажды, вместе со мною, арестовали сына моей квартирной хозяйки, гимназиста, ученика моего. Я дал Осипову честное слово, что мальчик не причастен к моим делам, просил выпустить его из тюрьмы и устроить так, чтоб Сашу не исключили из гимназии.

– Хорошо, я это сделаю, – сказал Осипов и при мне же распорядился, чтоб

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
гимназиста освободили. А когда я поблагодарил его за это, он объяснил:

- Бог мой, - ведь в наших интересах не увеличивать, а уменьшать количество бунтовщиков, вам подобных, а в интересах ваших было бы оставить мальчика в тюрьме, изломать его карьеру, озлобить и так далее...

Этими словами он как будто давал мне урок революционного поведения. Я так и сказал ему:

- Спасибо за урок.

Вероятно, он был тоже раздвоенный человек. Конечно - люди делятся на трудящихся и живущих чужим трудом, на пролетариат и буржуазию. Это внешнее деление, а затем они, во всех классах, делятся на людей цельных и раздробленных. Цельный человек всегда похож на вола - с ним скучно.

Я думаю, что цельность - результат самоограничения ради самозащиты. Кажется, это же самое утверждает Дарвин. Человек попал в условия, где некоторые свойства его психики не только излишни для него, но и опасны: ими может воспользоваться его внутренний или внешний враг. Тогда человек сознательно гасит, уничтожает в себе излишнее и этим приобретает "цельность". Например: на кой чорт революционеру жалость к людям, лирика, сентиментальность, романтизм и всё прочее в этом духе?

Революционеру необходим только энтузиазм и вера в себя. Интерес к многообразию внутренней жизни определённо вреден ему. В этом многообразии так же легко запутаться, как ребёнку в колючих кустах терновника.

Жизнь человека раздробленного напоминает судорожный полёт ласточки. Разумеется, цельный человек практически более полезен, но - второй тип ближе мне. Запутанные люди - интереснее. Жизнь украшается вещами бесполезными. Я не видал идиотов, которые украшали бы жилища свои молотками, гайками или велосипедами. Впрочем, один богач, мукомол, собрал больше пятисот замков и развесил их в двух больших комнатах на красных, суконных щитах. Но у него были такие фокусные замки, что я, наследственный слесарь, рассматривал их с огромнейшим удовольствием. И, конечно, все они были бесполезны.

Технические фокусы я люблю, как всякую игру человеческого разума, в каких бы формах она ни выражалась.

Вот тоже, говорят о "христианской культуре". Что врётё? Какого чорта христианская? Где в ней наивность, в этой вашей культуре? Евангельской наивности нет нигде. Расплодили злые, хитрые мысли, распустили их по всей земле, как стаю бешеных собак. Идиоты.

К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло на каторгу, многие, струсив, нарядились в бараньи шкуры обывателей; потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в своё удовольствие, стали бандитами, - "жизнь в своё удовольствие" всегда, прямо или косвенно, соприкасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости.

Но - лучше не писать, не думать на эту тему. У меня нет желания намекнуть кому-то: время было плохое, а потому...

Нет, я не хочу оправдываться. У меня своя линия, своя задача. Знакомый мой, татарин, говорил:

- Мин дин мин - я есть я.

Каков бы я ни был, но я - есть я. Условия времени сыграли значительную роль в моей жизни, но только тем, что поставили меня лицом к лицу с самим собою. Раньше я жил, так сказать, вооружаясь для борьбы, это поглощало все мои силы, и у меня не было времени думать: кто я? Раньше я был связан с людьми сознанием общности политических и экономических интересов, чувством партийной солидарности, дисциплиной. А тут вдруг почувствовал, что экономика и политика не всего меня поглощают, увидел, что солидарность интересов - сомнительна, а законы партийной дисциплины не для всех печатаются одним и тем же шрифтом... В это время я и



Карамора. Максим Горький [gorkiy.ucoz.ru](http://gorkiy.ucoz.ru)  
ушибся о вопрос: почему люди так шатки, неустойчивы, почему они с такой лёгкостью изменяют делу и вере?

Однако это всё-таки похоже на попытку оправдаться. Подлая штука.

Пожалуй, правдивее и вернее будет, если сказать просто: раньше я работал с увлечением, энтузиазмом, самозабвенно, а тут начал посвистывать; суну руки в карманы и свищу, чувствуя, что работать не хочется. Не то, чтоб я устал и не мог, а – именно не хотел. Скучно стало. И не потому скучно, что надо было снова хватать людей за ворот и тащить их на пути к свободе, на пути, только что обильно политые кровью, – нет, не потому. Я всё это делал, хватал, тащил, но уже как будто из упрямства, из желания кому-то что-то доказать, вообще из других мотивов, не прежних, а новых, неясных для меня. И – непрочных.

Непрочность побуждений к революционной работе я чувствовал особенно остро. Идеи оставались со мною, но энергия, оживлявшая идеи, как будто требовала иного применения.

Трудно мне объяснить это состояние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне странную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать что-то неиспытанное.

Может быть, это бунтовал авантюрист, человек привычки к приключениям, конспирации, опасности? Может быть.

Но – проще – суть в том, что раньше я говорил с людьми словами чужими, книжными и, сам оглушённый ими, не прислушивался к себе. А теперь я чувствовал, что внутри меня живёт кто-то, гость непрошенный и неприятный, он слушает мои речи и следит за мною недоверчиво, подозрительно.

Я стал замечать то, что раньше мелькало мимо меня, не задевая моего внимания, и заметил, что товарищ Саша, врач, специалистка по детским болезням, очень милая женщина. Была она маленькая, круглая, весёлая; уже почти год вертелась предо мною, как бы танцуя, её ловкая фигурка, бойко топали стройные ноги в голубых чулках. У неё вообще было пристрастие к голубому: кофточки, бантики, зонтики, в комнате на столах какие-то коробки, на стенах – картинки, всё голубое. И белки глаз голубоватые, а зрачки тёмные, ласково тающие улыбками.

Политически она была не очень грамотна, питалась больше всего беллетристикой, серьёзные книги читала неохотно, но по природе была не глупа.

Ещё в шестом году, когда восстание в городе было разбито, жандармы громили нашу организацию и десятками гнали людей в тюрьму, Саша удивила меня спокойным отношением к событиям. Она спрятала меня у своего дяди, офицера, и, уходя от него, пожимая мне руку, сказала:

– Почему вы ногти не чистите? И мыло засохло в ухе у вас.

Это мне понравилось. Потом я влюбился в неё, но молчал об этом. Она скоро заметила это и сама пошла встречу мне; это случилось очень просто, пожалуй, несколько бесстыдно, что ли. Как-то вечером я остался у неё пить чай, и вдруг она почти сердито спросила:

– Ну, когда же вы решитесь сказать, что я вам нравлюсь?

Вот и всё. Я ждал чего-то иного. Мне казалось, что настоящая любовь, как и вера, требует наивности. В простоте Саши – наивности я не почувствовал. Помню, что, раздеваясь, она даже не отвернулась от меня, а, раздетая, хвастливо сказала:

– Вот я какая.

И началась у нас "любовь" с великим удовольствием, но "без радости". Так сказать – деловая любовь, и "потому что без этого не проживёшь".

Около Саши суетился товарищ Попов, человек новый в городе. Чистенький, сытенький, розовощёкий и курносый, с рыжими усиками, он смотрел в глаза людям взглядом преданной собаки, с подчёркнутой готовностью услужить, побежать, принести. Я чувствовал в нём любопытство кутёнка, который суетится всюду, не

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru

понимая опасности, по молодости лет своих. Это любопытство возбуждало в нём смелость, хотя он казался мне трусом по натуре. Превосходно рассказывал еврейские анекдоты, знал множество юмористических стихов и был похож гораздо больше на куплетиста, на жулика, чем на серьёзного революционера. Однако было в нём что-то приятное, талантливое, какие-то свои искорки в словах, остренькие иголочки в мыслях.

Я очень скоро заметил, что Попов слишком часто приносит Саше конфеты, дарит книги и вообще, ухаживая за нею, тратит много денег. Я спросил её: что она думает об этом? Она сказала, что у него в Ростове богатый брат, но – это не успокоило меня. Может быть, я немножко ревновал, зная, что у супруги моей половое любопытство к мужчине очень развито.

А у меня была развита подозрительность, росло недоверие к людям; я жил в "эпоху провокаторов". Мне стало казаться, что жандармы поумнели с той поры, когда в городе явился "товарищ" Попов.

Я поймал его самым простым приёмом: сначала убедил одного "сочувствующего" из среды культурных деятелей города испытать маленькую неприятность обыска, затем Попов был осторожно осведомлён, что на квартире этого "сочувствующего", в его кабинете, в диване спрятано кое-что очень интересное для жандармов, через час к "сочувствующему" явились с обыском и, очень небрежно обшарив квартиру, вспороли и тщательно распотрошили диван. Разумеется, ничего не нашли.

Я был почти один в городе, если не считать небольшой кружок рабочей молодёжи и нервобольного товарища, который жил верстах в двадцати, на пасеке у знакомого казака. Я решил расправиться со шпионом единолично и немедленно.

Попов жил на окраине города, у огородника, на чердаке. Он показался мне угнетённым, в нём чувствовалась какая-то внутренняя растрёпанность; он, конечно, знал результат обыска и наверное уже чувствовал, что – пойман. Он встретил меня очень нелюбезно и заявил, что приглашён на именины к хозяевам дома, – действительно, внизу, под его комнатой играли на гармонике, кричали и топали.

На чердаке Попова я пережил часа три, четыре самых скверных в моей жизни.

Я спросил его:

– Давно работаете в охране?

Попов покачнулся, рассыпал папиросы, нагнулся под стол, собирая их, и оттуда сказал, заикаясь, чужим голосом:

– Г-глупая ш-шуточка...

Но, взглянув на меня, он сполз со стула на пол и, стоя на одном колене, засмеялся, всхлипывая, как баба.

– Оставьте... Бросьте, – бормотал он, глядя на браунинг в моей руке. Усы его ощетинились, под одним глазом дрожала какая-то жилка, глаз мигал и закрывался, а другой был неподвижен, как у слепого. Я поднял его за волосы, посадил на стул и предложил ему рассказать о своих подвигах.

Тут я увидел пред собою человека, у которого действительно не было лица: его заменяла серая масса какого-то студня, и в нём, вместе с ним, дрожали отвратительно выпученные глаза. Бескровным куском мяса отвисла нижняя губа, дрожал подбородок, морщины бежали по щекам, – казалось, что вся голова этого человека гниёт, разлагается и вот сейчас потечёт на плечи и грудь серой грязью. И, как бы утверждая это впечатление, Попов схватился руками за виски, закрыл ладонями уши.

Он рассказал довольно обыкновенную историю: с третьего года в партии, дважды сидел в тюрьме, в шестом году участвовал в вооружённом восстании, был арестован на улице.

Рассказывая, он икал от страха.

– Я действительно участвовал, я даже стрелял... даже убил какого-то, честное

слово! Наверное – убил, он – упал... Мне грозили вешалкой. Но ведь хочется жить. Ведь мы – чтобы жить, человек – чтобы жить. Как же иначе? Подумайте сами: ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да?

Это он шептал очень убедительно, шептал и всё спрашивал:

– да? да?

Одной рукой он царапал колено своё, а другой мямлил какую-то бумагу. Я отнял её и прочитал на ней имя Саши, своё, потом фразу:

"Ликвидировать Каразина было бы преждевременно, удобнее и полезнее сделать это в Екатеринославе, он скоро приедет туда".

Я заметил, что рассказ Попова не возмущал меня, – возмущала его философия. А тут ещё чорт подсказал ему нелепые слова, – они сразу ожесточили меня.

– Неужели совесть ваша не протестовала? – спросил я.

– О, да, – вздохнув глубоко, ответил он. – Да, сначала – очень страшно, думаешь, что все догадываются, чувствуют. Потом – привыкаешь. Вы что думаете? – шопотом сказал Попов. – Ведь в охране тоже нелегко. И там нужен героизм, там тоже есть свои герои, конечно – есть! Если – борьба, так уж герои с обеих сторон.

И ещё тише, жульнически добавил:

– Даже интересно там, может быть, интереснее, чем у нас. Ведь их меньше, нас – больше...

Я видел, что его страх у малывается, исчезает. Он рассказывал увлекаясь, очень живо, со множеством анекдотических подробностей и мелочей, порою даже смешных. Мне кажется, что я не один раз сдерживал желание улыбнуться, и я подумал, что этот телёнок, превращённый в полицейскую собаку, мог бы писать интересные рассказы.

В его цинизме было что-то наивное, и эта наивность, помню, всего более ожесточала меня. Ожесточала и пугала. Я чувствовал себя очень странно человеком, чужим самому себе. И вот наступил момент, когда я вдруг заторопился, сам себя подхлестывая на решение неожиданное.

– Ну, Попов, пишите записку: "В смерти моей прошу никого не винить".

Он скорее удивился, чем испугался, нахмурил брови, спросил:

– как это? Зачем? Как это – смерть?

Я объяснил ему: если он не напишет записку – я его застрелю, а если напишет, – пусть сам повесится, сейчас же, при мне. Первое, что он сказал в ответ, было неожиданно и нелепо:

– Самоубийство? Никто не поверит, что я кончил самоубийством, нет! Там сразу поймут, что меня убили. И конечно – вы! Вы. Кому же, кроме вас? Там ведь знают, что вы здесь – один почти... И – какое вы имеете право судить, казнить – один?

Потом он валялся на полу, хватая меня за ноги, плакал, визжал, и я должен был зажимать ладонью его противный, мокрый рот.

– Нет, – кричал он тихонько, умоляюще, – нет, судите меня! Надо судить, судить...

Возня эта продолжалась бесконечно долго, я ждал, что внизу услышат, придут. Но там всё веселее играла гармоника, всё яростнее кричали и топали.

Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ.

Брошу писать. К чорту всё! Зачем это нужно? К чорту.

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Нет, писание дело увлекающее. Пишешь – и как будто не один ты на земле, есть ещё кто-то, кому ты дорог, пред кем ни в чём не виноват, кто хорошо понимает тебя, не обидно жалеет.

Пишешь – и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внеразумной игрою своего воображения, – игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, страшит людей темнотою души человека затем, чтоб люди признали необходимость бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.

"Смирись, гордый человек!"

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то – между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя – мин дин мин. Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли. Неужели не было случаев, когда писатель умирал внезапно, за столом своим, над листом исписанной бумаги? По-моему – такие случаи должны быть. Выписал себя до конца, до последней искры жизни и – исчез. Жаль, что этим пьяным делом я не занимался раньше.

Ну, буду дальше писать о том, чего не понимаю.

Я вышел за город, ночь была светлая, холодная, дорогу ограждали чёрные деревья. Сел под деревом, в тень, и так просидел до утра, до поры, пока вдаль заскрипели телеги крестьян. Чувствовал я себя скверно, такая немая пустота в душе, безмыслие в голове, в теле вялая усталость. Ждал я, что в душе моей что-то вспыхнет, разгорится. Когда Попов умер – умерло и моё отвращение к нему. Кто-то подсказывал мне: ты убил человека. Но я понимал, что это исходит сверху, от ума, это не тревожило меня. Человек был предателем. И я не чувствовал себя преступником.

Но незаметно, откуда-то из глубины, вдруг встал предо мною тревожный вопрос: а почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но – не в нём, а – в себе? Как будто я не преступника уничтожил, а свидетеля, опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны опасного?

Вертелись в памяти его слова:

"Если – борьба, так уж герои с обеих сторон".

И вообще назойливо шептались его циничные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто.

Мухами кружились вопросы: как же Попов держался с жандармами? Неужели он им тоже рассказывал анекдоты и стишками смешил? И, может быть, смеялся с ними надо мною? Но главное, что и смущало и тяготило меня – это поспешность, необдуманность, с которой я заставил Попова удавиться.

В этом настроении отчуждённости от самого себя и как бы в полусне меня арестовали следующей ночью.

Начальник охранного отделения Симонов сказал мне хриповатым баском и каким-то неестественным, обиженным тоном:

– Вот что, Каразин, хотя Попенко и предлагает никого не винить в его смерти, но умер он в таком растрёпанном виде, а на кистях рук у него оказались такие пятна, что совершенно ясно: он повешен, а не сам повесился. В ночь его смерти вы сидели у него приблизительно до половины второго. Это – установлено. И это время вполне совпадает с моментом смерти Попенко. Далее: есть наука дактилоскопия, она, конечно, установит, что оттиски пальцев на стеклянной пепельнице принадлежат вам. Разумеется, я прекрасно понимаю, на чём вы поймали Попенко, да он и сам догадывался об этом. Он был парень полезный нам. Вам придётся заплатить за его смерть тем же. Кроме того: есть мотивы для уголовного дела, – убийство из ревности. К этому делу, конечно, будет привлечена и Александра Варварина – понимаете?

Я слушал и молчал. Не скажу, чтоб всё это испугало меня, но угроза уголовщиной, разумеется, была неприятна. Саша, обвиняемая по делу убийства из ревности? Нет. Это так нелепо, что даже смешно.

А Симонов, стоя в облаках дыма, говорил деловито:

- Я предлагаю вам заменить Попенко. Если вы на это согласны, вы немедленно укажете мне нескольких лиц, которых нам полезно ликвидировать. Тогда выйдет так, что Попенко выдал товарищей и повесился от угрызения совести, а вы сохраните жизнь, не говоря о том, что можете сделать очень хорошую карьеру. Теперь я вас оставляю на некоторое время, на час, на два, а вы - подумайте. Медлить - не советую.

Уходя и прикрывая за собою дверь маленькой камеры, Симонов добавил:

- Выхода у вас нет.

Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою, хотя я понимал, что игра моя проиграна непоправимо. Мне кажется, что я ни одной минуты не думал о том, какое принять решение, я принял его тотчас же, как только услышал слова Симонова "заменить Попова". Хорошо помню, что я сам был удивлён быстротой и лёгкостью, с которыми это решение возникло, - оно явилось так же естественно и просто, как возникает желание спать, гулять, выпить воды.

Сидел я в тёмной комнатке, слушал, как стучит в окно её проливной дождь, и прислушивался: протестует против моего решения какое-то чувство внутри меня? Не протестовало.

Что это значит? Что значит это спокойствие и откуда оно? Почему я не ощущаю того отвращения к себе, которое вчера было у меня к Попову? Я перебирал в памяти все те слова, которыми награждают предателей, вспоминал всё, что печаталось и говорилось о них, и всё это не задевало, не смущало меня.

Было похоже, что тот, кто вчера заставил человека удавиться, а сегодня решил уничтожить ещё многих, куда-то спрятался, а другой, недоумевая, ждёт голоса его, хочет что-то узнать о нём, ищет преступника и - не находит. Преступника - нет.

Потом зашевелились лениво какие-то тени мыслей, подвижных любопытством, они создали вопрос:

"Неужели я действительно буду работать в охране, буду выдавать товарищей жандармам?"

На этот вопрос никто не ответил, а любопытство стало навязчивее и острее. Я очень твёрдо помню, что преобладающим чувством в эти часы было у меня именно любопытство и затем удивление пред тем, что я ничего, кроме любопытства, не чувствую. В этом состоянии человека, спокойно любопытствующего и удивлённого самим собою, я и встретил Симонова.

- Разумное решение, - сказал он, выслушав меня, потом озабоченно начал говорить, что я "напрасно напутал с этим комиком Попенко".

- В дело ввязалась полиция. Ну, да это мы устроим. По обычаю, надо подписать вам вот эту бумажку.

Неожиданно для себя, я спросил:

- Как вы полагаете - струсил я?

Симонов не сразу ответил, он сначала закурил папиросу об окурочек старой.

- Нет, этого я не полагаю. Можете верить, я этого не думаю. Но - не время говорить об этом.

И всё-таки мы говорили долго, вероятно, час или больше, говорили, стоя друг пред другом. Странное осталось у меня впечатление от этой беседы: каким-то острым углом моего разума я понимал, что Симонов удивлен лёгкостью и быстротой моего решения не меньше, чем я сам, что он не верит мне, моё спокойствие не нравится,

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
непонятно ему так же, как мне; наконец, я чувствовал, что ему хотелось бы чем-нибудь испугать меня, но он понимал, что испугать меня нельзя.

Мне казалось, что всё, что говорит он, – "ни к чему". Так "ни к чему" он сообщил, что полковник Осипов весьма восхищался остротой и независимостью моего ума.

Я спросил:

– Жив он?

– Умер. Хороший человек был.

– Да, – согласился я.

Симонов отогнал дым от лица резким движением руки и настойчиво добавил:

– Мечтатель был. Что называется – романтик.

– Да, да, – снова согласился я и сказал, что Попов повесился сам, хотя и по моему настоянию. Симонов пожал плечами:

– Пусть будет так.

Всё это было неправдоподобно и в то же время всё было правдой, умом я хорошо понимал – всё правда. Но ум, наблюдая откуда-то со стороны, молчал, ничего не подсказывая, только любопытствуя.

"Так-то, Карамора! – говорил я сам себе. – Значит: направо кругом марш?"

Может быть, я всё ещё ждал, что кто-то крикнет мне:

"Стой! Куда ты?"

Никто не кричал.

Первое время – месяц, два – только Симонов выделялся из неправдоподобного своей резко подчеркнутой реальностью.

Человек лет пятидесяти, среднего роста, плотный. Седые волосы подстрижены бобриком. Неопределённой формы – "русский" – нос, мягкий, красноватый, небольшие, приличные усы. Глаза светлые, спокойные, даже немножко сонные. Людей такого облика очень много, их встречаешь часто, они водятся во всех сословиях, служат во всевозможных учреждениях, живут на всех улицах, по всем городам. Я привык смотреть на таких людей, как на заурядных и обыденных.

Но вот эта обыденность внешности и придавала Симонову в моих глазах особенно твёрдую реальность среди всего необыкновенного, чем я жил и что делал. Во всём, что он говорил, обнаруживалось уже знакомое мне отношение наймита, чиновника, которому или непонятны, или совершенно чужды основные и конечные цели его работы. Плохо осведомлённый в вопросах истории и политики, он относился совершенно равнодушно к интересам монархии, царя, ко всему, что он призван был защищать, и со вкусом, с удовольствием поругивал буржуазию.

Я спросил: почему он взялся за это беспокойное дело?

– Очевидно – из удовольствия делать его, – сказал он своим хриплым, неглубоким басом, постукивая мундштуком папиросы о крышку портсигара, и усмехнулся ленивой, как бы вынужденной усмешкой, продолжая:

– Вы – революционер для своего удовольствия, а я, для моего, вражду с вами, ловлю вас, поймал. Поймал и предложил: давайте охотиться вместе. Вы согласились. И – отлично. Мне стало ещё интереснее.

Тут я впервые, но ещё смутно, почувствовал что-то неладное, неверное в нём и вскоре убедился, что под заурядной внешностью этого человека шевелятся мысли не совсем обыкновенные, или, пожалуй, обыкновенно обывательские, но отточенные чрезвычайно остро.

Я пробовал говорить с ним на тему о неравенстве людей, этом, как говорят, единственном источнике всех несчастий жизни, он пожимал плечами, дымил папиросой и спокойно отвечал:

- А я при чём тут? Это не мной устроено, и мне до этого дела нет. И вам - тоже. Испортили вас интеллигенты. Не те книги читали вы. Вам бы почитать "Жизнь животных" Брема.

Всегда в зубах его торчала папироса, пред лицом стояло облако дыма, он щурил глаза, смотрел в потолок и говорил ленивенько:

- Самое большое удовольствие - одурачить, обыграть человека. Вспомните-ка детские игры и, начиная с них, просмотрите всю жизнь: игра в бабки, в мяч, потом игра с девицами, игра в карты, вся жизнь - в игре! Среди вашего брата заметно немало людей, которые играют самими собою.

Он напоминал мне этими словами фракционную и партийную борьбу, удовольствие, которое часто испытывал я, когда мне удавалось "обставить" товарищей.

- Игра и охота - вот это вещи! - говорил Симонов. - Будь у меня средства, я бы уехал в Сибирь, в тайгу, медведей бить. А то и в Африку махнул бы. Охота - великое дело. И суть вовсе не в том, чтоб убить, а чтоб выследить зверя, поддержать его под прицелом, испытать в эти минуты свою, человеческую, над зверем власть. Убивают всегда из корысти, ради удовольствия никто никого не убивает, только сумасшедшие или в состоянии запальчивости, раздражения, но это ведь тоже ненормально - запальчивость. В том и подлость убийства, что оно всё-таки корыстно.

Слушая его, я не очень верил ему, но - думал:

"Так. Если жизнью командуют игроки и охотники, - что же может помешать мне играть ими и самим собою?"

В голове Симонова было какое-то тёмное пятно, мозговой вывих, затвердевшее место, мозоль.

- Игра. Охота, - говорил он, сводя всю жизнь к этим забавам, но я ему всё больше не верил, зная, как ловко люди строят различные загородки, чтоб отделить себя от жизни, объяснить своё нежелание работы на неё.

Как-то ночью, на конспиративной квартире, мы пили вино, и Симонов сказал:

- У меня, батенька, был в руках один интеллигент, эдакий, похожий на привидение, так он мне проповедовал, что человек - это зверь, который сошёл с ума, встал на дыбы, и с этого момента началась история, та самая, что вот и сегодня продолжается. Конечно, парень этот сам был сумасшедший, но мысль его недурна. История, говорит, это процесс лечения сумасшедшего зверя. Я, знаете, немало думал над этим, - мысль, достойная внимания. Я даже думаю, что если б это было возможно, так все порядочные, честные люди решительно отказались бы от участия в истории человечества. Но - как откажешься, куда убежишь? Ведь и отшельники и монахи неизбежно вовлекаются во всеобщую канитель.

Себя Симонов явно считал "порядочным" человеком, хотя и занимал в скверной истории определённо скверное место. Но напоминать ему об этом, указывать на это было бесполезно.

- Ну-у, - говорил он в ответ, - это наивно, батенька!

И возмущался:

- До чего испортили вас интеллигенты!

В его отношении ко мне было нечто, подкупавшее меня, это был интерес к человеку во всей его полноте, во всём объёме, так сказать - чистый интерес. Он жил вне служебного и корыстного, отдельно, независимо, как интерес "к человеку просто". Симонов смотрел на меня не как начальник на подчинённого, а как старший на младшего: не командовал, не приказывал, а предлагал и даже советовался:

- А как вы думаете, не пора ликвидировать этого нелегального?

И, если я находил, что ликвидировать преждевременно, он, без спора, соглашался со мною.

Он питал ко мне чувство, которое я бы назвал бережливостью. Может быть, это было даже то чувство любви, которое питает охотник к хорошей собаке. Я пишу это без иронии, без горечи, я слышал умную пословицу:

"Самая красивая девушка не может дать больше того, что у неё есть". Эта пословица очень умиротворяет запросы души.

Случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей. Ни одного человека, с которым я мог бы свободно говорить о самом существенном, - о себе. Я, разумеется, пробовал говорить на эту тему, но разговоры в этом духе не удавались и не удовлетворяли меня. Не все зияния в душе можно заткнуть книгой, к тому же есть книги, которые очень зло расширяют и углубляют эти зияния. Редки люди, способные видеть, что всё на свете имеет свою тень, и всякие правды, все истины тоже не лишены этого придатка, конечно - лишнего. Тени эти возбуждают сомнения в чистоте правд, сомнения же не то что запрещены, а считаются постыдными и, так сказать, неблагонадёжными. Сомневающийся - всегда подозрителен; вот это, пожалуй, истина, лишённая тени.

Среди товарищей я имел репутацию человека, идейно шаткого, капризного и - это хуже всего - склонного к романтизму, к "метафизике", как говорил товарищ Басов, человек, с которым я встречался чаще, чем с другими.

- Революционер обязан быть материалистом; материализм - это воля, совершенно очищенная от всего неразумного, иррационального, - говорил товарищ Басов, подчёркивая р; я понимал, что Басов говорит правильно, однако, по антипатии к нему, не соглашался с ним.

Симонов - человек, с которым можно было говорить о чём угодно, он умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что - этого он не понимает, этого - не знает, о иногда прямо говорил:

- Это мне не нужно знать.

К моему удивлению, ненужным оказался для него бог, к удивлению, потому что я думал - он верующий.

- Странно, что вы спрашиваете об этом, - сказал он, пожав плечами. Какой там бог, когда у нас, у каждого, по четырнадцать аршин кишок в животах? И, затем, если - бог, то ведь и верблюд, и щука, и свинья должны чувствовать его, - понимаете? Ведь человек тоже животное. Разумное? Ну, разумных животных немало и кроме человека; к тому же установлено, что в этом деле разум ни при чём: бог постигается не разумом. Ну, чего ж... Вы бы почитали Брема, право!

Изумлялся:

- Как испортили вас интеллигенты!

- Ну, а если б не испортили, - чем бы я был, на ваш взгляд?

Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал:

- Н-не знаю. Может быть, изобретателем каким-нибудь. Не знаю. Вы очень странный.

Вообще же Симонов был человек не живой, какой-то плохо выдуманный и, должно быть, очень одинокий.

Словоохотливый, он был скуп на жесты, руки его двигались медленно, смеялся он редко, и чувствовалось, что он глубоко равнодушен к жизни, к людям. А за всем этим он был ленив, возможно - ленив ленью усталости.

Я скоро убедился, что всё, что он говорил о наслаждениях охоты, игры, выдуманно им для себя, взято с чужих слов. Охота на людей не увлекала его. Имея помощников



Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru

в лице провокаторов, он вполне удовлетворялся этим и личную инициативу почти не проявлял. В сущности, если б я этого хотел, я, наверное, мог бы ничего не делать, а просто рассказывать Симонову анекдоты из партийной жизни, из быта революционеров. Анекдотическая сторона революции интересовала его, пожалуй, больше самой сути дела; анекдоты он выслушивал всегда внимательно, и чем глупее был анекдот, тем более широкую улыбку вызывал он на удручающе бесцветном лице Симонова. Однажды он заметил, вздохнув:

- А Попенко рассказывал эти штуки забавнее, чем вы. Он говорил, как Брем.

"Как Брем" - это наивысшая похвала в устах Симонова. "Жизнь животных" он читал всегда, как немец-меннонит библию.

Как-то я спросил его:

- Почему вы называете Попова - Попенко?

- Так вижу, - ответил он, - Каждый видит по-своему. Попов должен быть выше ростом, и - руки у него длиннее.

Была у Симонова только одна черта или привычка, возбуждавшая у меня неприятное и подозрительное чувство: иногда он, среди беседы, вдруг точно проваливался в неизвестное и непонятное мне. На безличном лице его являлась важная, но глупая гримаса, зрачки нелепо расширились, он сосредоточенно и строго, как гипнотизер, смотрел на меня, но я чувствовал: видит он что-то другое, почти страшное. И при этом он, спрятав руки под стол, шевелил ими так, что мне казалось: он незаметно достает револьвер, чтоб застрелить меня. Эти припадки внезапной, немой задумчивости, провалы человека в неведомое и недоступное мне, были очень часты у него, и всегда я чувствовал себя нехорошо во время их.

Потом я стал думать, что в Симонове скрыто что-то значительное, таинственное, такое человеческое, чего он сам боится. Я ждал, что он откроет предо мною это, и мой интерес к нему становился всё более напряжённым, ожидающим.

Есть теории добра: евангелие, коран, талмуд, ещё кикие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Всё надо объяснить, всё, иначе - как жить?

Вчера я написал:

"Если б я хотел, я мог бы ничего не делать", - иными словами: я мог бы не выдавать товарищей. Более того: мне легко было бы делать кое-что полезное для них. Я и делал, но, сделав, чувствовал, что это мне не нужно и не может ничего изменить внутри меня.

Я - выдавал. Почему? Вопрос этот я поставил пред собою с первого же дня службы в охране, но ответа на него не находил. Я всё ждал, что внутри меня вспыхнет протест, "заговорит совесть", но совесть молчала. Говорило только любопытство, спрашивая:

"Что же будет дальше?"

Я очень настёгивал себя, пытаюсь разбудить чувство, которое осудило бы меня, сказала мне решительно:

"Ты преступник".

Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, отвращения, раскаяния или хотя бы страха. Нет, ничего подобного я не испытывал, ничего, кроме любопытства; оно становилось всё более едким и, пожалуй, тревожным, выдвигая разные вопросы, например:

"Почему так лёгок переход от подвигов героизма к подлости?"

Неужели прав дрянненький Попов, сказавший:

"Если борьба, так уж герои с обеих сторон".

Но "героём" я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принуждён, обязан решить тёмный вопрос: почему, делая подлое дело, я не чувствую отвращения к себе? Этот вопрос я ставил пред собою и так и всячески, на сотню ладов.

Потом я стал думать: а вдруг Симонов – прав, жизнь – дело сумасшедшего зверя, всё в ней – пустяки, игра, а я действительно испорчен интеллигентами, книгами? Вдруг все эти "учителя жизни", социалисты, гуманисты, моралисты – врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми – выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счёт сил другого, и это дано навсегда.

Ничего нет, всё выдуманно, всё лживо, а я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверьячья борьба, и незачем сдерживать, главное, нечем сдержать эту борьбу. Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против её: она – законное и действительное орудие взаимной борьбы.

Есть очень злая сказка: народ единодушно восхищался красотой и богатством одежд короля, а мальчишка вдруг закричал:

– Король – то совсем голый!

И все тотчас увидели: да, король гол и уродлив.

Может быть, это я и должен сыграть роль зоркого мальчишки?

Мысли этого порядка особенно настойчиво одолевали меня в четырнадцатом году, когда началась анафемская война и всё человеческое соскочило с людей, как чешуя с протухшей рыбы.

Прочитав написанное мною сейчас, я вижу, что всё это – не то, что надо, не так рассказано. Я изобразил себя человеком, который запутался в мыслях, философствуя, вывихнул себе душу, умертвил в ней всё то человеческое, что считается добрым, хорошим. Нет, это – не то, не так.

Мысли, несмотря на их обилие, никогда не смущали и не соблазняли меня. Они представляются мне пузырями на поверхности кипения чувств: вздуваются пузыри, лопаются, исчезают, заменяясь другими. Только те мысли живучи и действительны, которые заряжены чувством; когда они заряжены, я их физически ощущаю, тогда мысли, как пальцы, хватают, подбирают и перемещают факты, лепят, строят и, оплодотворённые чувством, в свою очередь рождают новые чувства.

Одна, сама по себе, не оплодотворённая чувством, мысль играет с человеком, как проститутка, но совершенно не способна изменить что-либо в человеке. Конечно, иногда и проститутку искренно любят, но – естественнее относиться к ней осторожно: обворует, заразит.

Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски. Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний, непогожий день.

Но я видел, что люди так крепко взнузданы излюбленной ими мыслью именно потому, что она прочувствована насквозь, вошла в плоть и кости людей. Эта мысль – не пузырь, а – туго сжатый кулак, мысль, верующая в свою силу.

В седьмом и четырнадцатом годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих верований, я убедился, что в них чего-то нет и никогда не было. Чего? Чувства физической брезгливости к тому, что отрицалось их мыслью? Не было привычки жить честно?

Вот здесь я, кажется, поймал что-то верное: привычка жить честно – это как раз то самое, чего не хватает людям. Этой привычки не хватало и товарищам моим. Быт их противоречил "убеждениям", "принципам", – догматам веры. Это противоречие особенно резко обнаруживалось в приёмах фракционной борьбы, во вражде между людьми одинаковой веры, но различной тактики. Тут находил себе место

Карамора. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
бесстыднейший иезуитизм, допускались жульнические подвохи и даже подленькие приёмы азартных игроков, увлечённых игрою до самозабвения, играющих уже только ради процесса игры.

Да, да – привычки жить честно нет у людей. Я, разумеется, понимаю, что большинство их не имело и не имеет возможности выработать эту привычку. Но те, кто ставит перед собою задачу перестроить жизнь, перевоспитать людей, ошибаются, полагая, что "в борьбе все средства хороши". Нет, руководясь таким догматом, не воспитаешь в людях привычку жить честно.

А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления, использовать сразу всё зло, для того чтоб, наконец, всё это надоело, опротивело, ужаснуло и погибло?

Странное дело! Никак не могу не связывать себя с кем-то или с чем-то, с людьми или событиями. Не могу, и – это очень похоже всё-таки на попытку оправдать себя, попытку, скрываемую мною неискусно.

А между тем я совершенно лишён желания оправдываться, это я и знаю и чувствую. Это не из гордости, не из отчаяния человека, который изломал свою жизнь непоправимо. Не потому, что я хотел бы крикнуть: да, я преступник, вы – тоже, но у вас – сила, убивайте!

Мне кричать некуда, некому. Людей я не чувствую, они мне не нужны.

Все эти невольные попытки самооправдания мешают мне открыть главное, чего я ищущу: почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило бы меня на пути к предательству? И почему я сам себя не могу осудить? Почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления?

Если мои записки имеют цель, так только эту – разрешить вопрос: отчего я так несоединимо и навсегда расклеился?

Я уже писал: я беспощадно нахлёстывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и весёлый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвоят.

Ничего не взвыло.

Симонов угощал меня красным вином какого-то необыкновенного вкуса и запаха, угощал и говорил:

– Хотите перевестись в Москву или Петербург? Здесь для вас уже мелка вода. Меня, вероятно, тоже скоро переведут в одну из столиц.

– Пётр Филиппович, – спросил я, – как вы думаете: почему я стараюсь?

Он, по обыкновению, ответил не сразу, сначала внимательно посмотрел на меня, потом в потолок; пожал плечами:

– Не знаю. На деньги вы не жадны, честолюбия у вас – не заметно. Из чувства мести? Не похоже. Вы, в сущности, добряк.

Улыбаясь, он продолжал осторожно:

– Не первый раз вы спрашиваете меня об этом, а я уже говорил вам: вы человек странный. Может быть, вы немножко сумасшедший? Тоже как будто нет. Ну, а сами-то вы знаете: из-за чего же?

Тогда я кратко рассказал ему в чём дело. Он слушал меня внимательно, молча; слушал и жёг папиросы одну за другой. А когда я кончил, Симонов равнодушно сказал:

– Ну, это, знаете, даже опасно. Ф-фа, до чего испортили вас эти чортовы

интеллигенты.

И, зажигая новую папиросу, он вздохнул:

- Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что ж вам ещё осталось? Только одно; убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете, закричите.

Он встал, налил вина и, стоя затылком ко мне, разглядывал вино на свет, досадно обыкновенный человек, в этот час - более обыкновенный, чем всегда. Так он стоял долго, пока я не догадался, что наступил обычный его припадок, провал в непонятное мне.

- Что с вами?

Он медленно обернулся, сел, выпил вино, вздохнул, закурил.

- Выдумали вы, батенька, всю эту внутреннюю канитель, - сказал он. Выдумали, да! Это - для развлечения. Я - знаю это. Сам, иногда, лягу спать, а - не спится, и воображаю себя то отчаянным злодеем, то святым человеком. Забавляет. А чаще всего - фокусником, эдаким исключительным, эксцентрическим фокусником.

И вдруг, облокотясь на стол, оживлённый, каким я его никогда не видал, Симонов начал рассказывать хриплым своим баском:

- Знаете, - чудеснейшим фокусником вижу я себя. Прежде всего: я выхожу на сцену в трико - понимаете? Как акробат. Никаких карманов.

Он улыбнулся улыбкой счастливого человека, глупо и смешно подмигнул мне.

- Вдруг в руках у меня утка. Я пускаю её на пол, она ходит по сцене, крикает и - кладет яйца! Понимаете? Положит, а из яйца вылупился поросёнок, положит другое, а из него - заяц, из третьего - сова, и так штук десять. Вообразите состояние публики, а? Все встали с мест, протирают глаза, смотрят в бинокли, - изумление! Все чувствуют себя дураками, а особенно губернатор, каково губернатору чувствовать себя при публике идиотом, а? Вдруг - у меня две головы! Я закуриваю сигары, - две! Но - дыма нет, а потом дым идёт из пальцев ног - воображаете? А по сцене прыгает заяц, бегают поросёнок, дико вытаращенными глазами смотрит на людей ослеплённая огнём ramпы сова, ещё какие-то животные мечутся, их становится всё больше кавардак!

И, вытаращив бесцветные глаза, начальник охранного отделения Пётр Филиппович Симонов, борец против революции, сказал с глубочайшим убеждением, почти с восторгом:

- Чорт знает, до чего можно одурачить людей! Чорт знает как!

Слушая его нелепый бред, я чувствовал себя идиотом. Он не был пьян, пил не мало, но никогда не хмелел.

Я спросил его:

- Об этом вам и думается, когда вы вдруг точно засыпаете во время беседы, как будто проваливаетесь куда-то?

- Об этом, - сказал он, кивнув головой. - Это на меня находит внезапно. Как-то даже на докладе, в департаменте полиции, вдруг мне представилось, что я могу написать в воздухе пальцем мою фамилию огненными буквами. И - что ж вы думаете? Начал писать, вижу - выходит! Горят в воздухе перед лицом директора огненные буквы: Симонов, Симонов... Смотрю на директора и удивляюсь: неужели он не видит этого? А он спрашивает меня: "Что с вами? Вам дурно?" Испугался, конечно.

Тихонькое безумие сияло в глазах Симонова, и от этого лицо стало как будто значительнее.

Питая некую надежду, я спросил:

- А больше у вас ничего нет?

Он тоже спросил меня:

- Что вы хотите сказать?

Странно умер он: ночью часа два сидел со мною, совершенно здоровый, а в четыре часа дня умер в саду, лёжа в гамаке.

Приходил товарищ Басов и с ним ещё какой-то рыжий, с забинтованной головой:

- Не узнаете меня, Карамора? - осведомился он.

Оказалось: один из тех, которым я устраивал побег. Не помню его. Их было трое в тюрьме.

Басов спросил: служил ли я уже в охране, устраивая этот побег? Глупый вопрос. По документам охраны они должны знать, что уже служил.

Поговорив со мною полчаса тоном праведных судей, - как и надлежало, ушли.

Пожалуй, они оставят мне жизнь.. Интересно: что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку, или человек дан жизни на съедение? И чья это затея - жизнь? В сущности: дурацкая затея.

Да, я, служа в охране, разрешал себе устраивать товарищам маленькие удовольствия: побег из тюрьмы, побеги из ссылки, устраивал типографии, склады литературы. Но двурушничал не для того, чтоб, упрочив их доверие ко мне, выдавать их жандармам, а так, для разнообразия. Помогал и по симпатиям, но главным образом из любопытства: что будет?

Говорят, есть в глазу какой-то "хрусталик" и от него именно зависит правильность зрения. В душу человека тоже надо бы вложить такой хрусталик. А его - нет. Нет его, вот в чём суть дела.

Привычка честно жить? Это - привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможна только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым. Или - душевно слепым. Может быть слепота - это и есть святость?

Я не всё написал, а всё, что написал - не так. Но - больше писать не хочется.

Уголовные поют "Интернационал", надзиратель в коридоре тихонько подпевает им. У него смешная фамилия - Зудилин.

Была у нас в комитете пропагандистка, Миронова, товарищ Тася, удивительная девушка. Какое ласковое, но твёрдое сердце было у неё! Не скажу, чтоб она была красива, но человека милее её я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней? Я её не выдавал жандармам.

Поток мысли. Непрерывное течение мысли.

А что, если я действительно тот самый мальчишка, который только один способен видеть правду?

"Король-то совсем голый, а?"

Опять лезут ко мне. Надоели.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатано в журнале "Беседа", 1924, номер 5, июнь. Вошло в книгу М.Горького "Рассказы 1922-1924 гг.", издание "книга", 1925.

В недатированном письме к Ромену Роллану (по-видимому, 1924 г.) М.Горький писал, что при работе над этим рассказом ему вспомнились провокаторы, которых он встречал: М.Гурович, Е.Азеф и др. (Архив А.М.Горького).

Начиная с 1925 года, рассказ включался во все собрания сочинений.

Карамора. Максим Горький [gorkiymaxim.ru](http://gorkiymaxim.ru)  
Печатается по тексту 17 тома собрания сочинений в издании "Книга", сверенному с  
рукописью (Архив А.М.Горького) и первопечатными текстами.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!